

# ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

---

## ГОРОД, УЛИЦА, АДРЕС, КРОВАТЬ

### ИЗ «БЫЛОГО»

Всё вспоминается, при фразе – «Пора в Ильичёвск», в организме жужжало что-то параличёрское... Тороватые «восьмидесятые», в длинной толпе за «московской», никакой не Тарковский был на устах, а мат стариковский, прогорклый и жёлтый, как «сливочное» в сугубой бумаге, серой от горя – вмещать эту дрянь, и в пятнах, поди, от отваги.

Троллейбусы подвывали, у людей были нехорошие лица, как у комсомольцев по убеждениям; всё время душе напиться хотелось, причём, как-то с вывертом, в обществе жён моряков, которым тоже ведь не легко, когда их буй столь далеко; была популярна консерва «горох в свином жире», сорок коп., патлы морской капусты, самогон из носков – забуреть нам чтоб.

Женщин разумнее было не оголять, бо об исподнее их подчас резали пальцы, складки были жестки, как устав, но девы нас и себя не спросясь, всё это брали у турок на страшных рынках, напоминавших содом и вирус беды; и Шнитке тогда, а не Глинку воспроизводило тело, ещё молодое и оттого бодро нахальное, и время уже считалось вполне историческим, даже эпохальным.

Всё быстро сползло в загаражный гоп-стоп, в бандитизм без фантазии, вторичное накопление, в б.у. авто, унылый ликбез ночных ларьков, с суррогатами и спитыми бабами до тридцати, ночью за выпить и закусить просто некуда было люду пойти. И народ разложился вконец – посмотри на автора этих строк: он как-то выполз и выжил, заматерел, иначе он просто не мог.

### THE LETTER

Пишу Вам в Лондон со всею русско-еврейско-польской тоской, с лицом, похожим на смайлик, рукой, как коряга в лесу, пишу расхлябанным дольником, и в окне, точно на водопоп, толпой к набрякшему перед грозой исподу неба, кроны идут, создавая шум.

У Вас там, в отдалённости островной, над Темзой, заплывшей жиром от отражений и фотосъёмок, как знать, в то время, пока я это пишу, – гудит и пучит губы безглазое небо, как бывшая, что ушла, сумкою дверь притворив, – в замке с ключом застряла рука.

Я пишу Вам в Биг-Бен и в «даббл-деку», тенью, за вашей амбrelloй, кривляясь и перелетая с асфальта на стекло бутиков; и майский лак авто, крылатым призраком, став вашими ни душою и ни телом, и слыша через чужие уши вялое «регги» с Ямайки.

Не расстояния и не развязки чумных мегаполисов, и не дресс-код тоски когда-то прерванных медленных танцев на кухне, где ваш, в кураж рок-н-ролла, зад, словно пинг-понг, отскакивал от доски, и было радостно и тяжело дышать, и пили, и щипали лаваш.

У Вас барбекю на выселках, с музыкой и пузырьём сала, и танцы – твист или сальса; и Темзы вся берега орошая «Harvest moon» восходит; и мы, в далёком прошлом, вдвоём... И лампочка, если резко выключить, как монета большая.

## ВИДЕОКАМЕРА

Над моей седеющей, как полынь в степи, головой, как какая-то редкая гадость углов и пространств, нависает и ширится точка о восьми лучах – существо подвижнее воздуха и по нему же незаметно странствую.

Глянь, как они нависают, дорогая, пришедшая здесь жить и шуршать, нет, ты посмотри, как за ночь они, в легаты связуя лонжи, расселись или зависли днесь: за окном июньские нюни небес, вид на навсегда, как ни взгляни.

Это бессмысленная трата троп и времени дня для тех, кто из яда моей изумрудницы пыгается сделать вытяжку, не Голема и не прочих Франкенштейнов ума, а в читательской темноте, под той, никогда не забвенной лампой, в трещащей и злой тишине,

кому-то и куда-то буквы рисует и кошку гладит, седую, как я, у анонимного из всех ручьёв, например – например я забыл, а то волокна народов, просравших себя на корню, враскоряк пойдут куда-нибудь умирать с мечом и с падшей кобылой.

\*\*\*

В «старом городе», правее от ратуши и вблизи фонтана, похожего на кальян, под выцветшими «маркизами», на уши тень натянув, поживало кафе; и трезв, и пьян,

и немец, и местный легко привыкали к его старинной утрюмости и к столешницам, где в центре плескал букетик под сквозняком, и твоего духа ничто не касалось – запах «арабики», близость к воде.

В чужих городах, но не сразу, постепенно, потом, человек находит то место, где думать и тосковать ему много лучше, чем дома, даже в охапке с любимым котом, который зудит и томится с вами, но это полезно уму.

И здесь не чужбина какая, с набором мыслей и книг, – просто иное пространство, пусть не всегда по вкусу и по цене, но и отдалённость тела от центра былого, откуда ты и возник именно здесь и сейчас – никогда не случайна, сколько бы ты не

воротил носа и не изнурял чувство прекрасного, что дано в тактильных малых открытиях: брусчатка площади, жар чашки с рельефным рисунком, комочки ткани, хотя давно вы всё это знали, но при другом освещении; вспышка ножа

на закате, блик закрываемой форточки, обманки мира вокруг – от колокольни «земля-земля» и до мнимого перламутра грачей и голубей разного тона; незнакомая местность бодрит, ни друг, и ни враг тебя не достигнут, и сидишь у столика, такой же ничей,

как кашне в прихожей или трамвай вдалеке; и ум, не торопясь, продумывает маршруты грядущего, пытаясь с души срисовать её представления о жизни – теперь и вообще; и осязается связь их именно здесь и сейчас. Дальше: город, улица, адрес, кровать.

## ГОТИКА

Бывает, что в голове одна холодная звонкость храма, паутинная кантилена, хтонический зверь органа, пол в синих и серых ромбах, витраж и рама лежат вдоль и наискось, и «розы» зияет дымящая рана.

Бывает, что жизнь улизнала, как верхние беглые ноты, под стрельчатые своды, повисла и счёты сводит со мною, гудит, перебирая регистры – мол, зачем ты вообще и кто ты, но отвечать не надо, где-нибудь встань в стороне, под стеною.

Служба идёт, точно длинный – в огнях – пароход из прошлого века, дымя, выползает из порта, басами чужой небосвод выгибая до контура арки; путешественник трубку зажёт на баке, и человека в нём – ровно тусклый глазок табака; смерклось; теперь любая

деталь – только идея и абрис; на палубах людно и неторопливо; душа где-то меж ними тоже ищет себе укромный и пятый угол, повторяя – «куда ж нам плыть?»; куда хватит угля, прилива, отлива, жизни, в конце концов, но и она выгорает, как трубка и как уголь

в топках; а здесь под ногами ромбы цветных бубён, свистящие и ревущие остинаты, григорианский ужас одинокого голоса в хоре; ничего не должно случиться плохого, бо было уже; и концом шлеп звуковой и прощальной хлещет орган, тоже один, как всякое горе.

## КИТАЙСКИЙ КАРАНДАШ. БУМАГА

Дерева по пояс в тумане стоят, точно они в длинных юбках, среди фонарей, то есть наоборот; монохром небес размывает все последние дни, такая себе *lacrimosa* для пьющих соло в арках ворот.

Расширим местность присутствия нашего здесь и сейчас: где-то, на верхотуре дома, дева без сна и жуя губу, узнаёт про диагональ жилища, мелко ступая, но не мечась в самодельной тоске, с бордовым овалом вина и на лбу

с некрасивой веной – портрет всех покинутых походя; на подоконнике силуэты кота и вазы, на столе спаржа и сыр, дёготь остывшего кофе, «житана» синий квадрат, и глядят в окна друг другу дома напротив; таков ежевечерний мир.

Или же парк, где герой лирически шляется туда-сюда,  
в поисках скамьи под кроной и без подсветки сбоку теперь  
уже через одного горящих шаров – виски идёт под безлюдье, да  
в окружении мокрой листвы; и что-то шуршит, точно зверь.

И лирически же преисполнившись градусом, в капюшоне, один  
из миллионов таких же стоических горемык, мужчина за  
пятый десяток махнув, разрушаясь и распаясь на «вперед!»  
и «позади», размышляет – чьи бы хотел перед собой глаза

сейчас увидеть, и попадает в кладовку времени, в сусек,  
где мыши событий свихнули хвосты и паук повесился на  
своих же ажурных хитросплетениях дат и годовщин; имярек  
без этого не представим; а внутри меж тем громкая тишина,

и мерное и неотвратимое, как грядущий инфаркт, сердце там  
опять свой набат начинает – мучительная соразмерность: удар –  
пауза, с приостановками (словно шнурок завязать); и темнота  
парка прострелена телеграфом собак, и утки озера в никуда

плывут и плывут, точь-в-точь как по ночной трассе авто;  
и герой как матрёшка, где много других героев внутри,  
и они поочерёдно выглядывают, чтоб убедиться: вот никто,  
под именем некто, сидит, размышляет и пьёт, хорош, как ни смотри.

## №№

Погружайся быстрее, вызволи воздух из  
лёгких, как перед прыжком, покидая карниз;  
когда распластаться – олицетворишь положение риз.

Отвыкай ото всего, даже если привязанности велики,  
новые наживёшь, нагуляешь, как простуду у зимней реки,  
где, на скамейке сидя, не извлечь из кармана руки.

Позабудь эту женщину, схожую с далёкими звуками сна,  
ту, что – твоё представленье о женщине: в лесу или у окна,  
в машине или в гробу; позабуди и погружайся быстрее... Она

нигде не найдёт, не достигнет тебя, не будет с чужими рыдать,  
со своими плясать, – она просто не будет, как не придут поезда,  
которых вместе ждали когда-то, считая галок и вислые провода.

На другие кулички ты перебрался, новых чертей завёл,  
так и не полюбив на свежих подушках ни студня и ни футбол,  
кто-то обнимет голову, не смешно пошутит, употребит глагол,

выпьет с тобою, скорее от скуки слушать, что ты ей говоришь;  
перестань хрупких ланей грузить кирпичами своими; типь  
взаимосуществования – лучшее из невозможного; и мышь

оживляет тёмный закут, дуется на крупу, кошка всегда придаёт  
рельеф и осязаемость плоскости, вокруг тишина, и лишь иднот  
таракан паркуром с утра увлечён; и виски внутри течёт, как компот.

Пришёл Первомай, а коммунистов как раз нет,  
и профсоюзов нет, нет ничего вообще, одне  
оригами свистают на ветках; в парке, радуясь, туалет  
заработал, закусив био-губу; и всё, что по весне  
должно происходить – вот оно, рдеет и зреет вокруг,  
обло, озорно, стозевно, не покладая ни ног, ни рук.

Перечислим, сердце скрепя: розница няшных или хмурых  
мам, на скамьях или в изрядных позах возле песочниц, где  
цветные кули включили сирены так, что вместо дронов амурь  
сверглись с небес, и выются от боли, одиноки в своей беде;  
и в ротонде прошлого века, сырой и бессмысленной,  
старушка танцует твист с Паркинсоном; и всё же пахнет войной.

Муниципальных кошек не видно, где-то сидят и ждут; зато  
в ненужном зрачку преизбытке звонкое, молчаливое, юркое,  
тянущее задние лапы псовое, на поводах и запросто, налито  
лаем и воздухом, прёт, как «Время, вперёд»; пакостные придурки  
мороженое запивают пивом, преодолевая в себе пубертат,  
у дев повышена влажность, все ржут, и никто никому не рад.

Вот и весь праздник трудящихся: ни бухих, ни шапльчного вам  
дымка, ни женщин в соку томатном, с гранатой шампанского  
наперевес, в бикини гасающих, ни ментов, чтобы по головам  
накостылять и забрать «кассетник», и ни здоровья цыганского, –  
аллеи прибрали юннаты и волонтеры из неполных семей...  
Может, люди стали другие, а может – из-за войны, иди разумеи.

## ПОГОСТ

Грибы надгробий, папоротники, и небо над ними,  
как сплошной кенотаф, гекатомба без имени;  
с тобою случится то же, что и с другими.

Гаргульи и прочие прощальные аллегории; небесных  
ангелов сдали в химчистку, как на вакации войско; без них  
тоже можно полёживать с миром, свисая над бездной.

Погост – всегда симулякр, папье-маше для пьющих  
в память об отошедших, в высотах или глубинах гниющих,  
ни разложением, ни вознесением живущих не достающих.

Помянем и мы свою младость наглуую, она хотя бы  
помнит ещё о нас, но уже мерзка, как гадкий Хотгабыч,  
дрожа над волосом из бороды; на «муравье» трёхколёсном прорабыч

мчит аллеей, нетрезв и смело ужасен; надежды питают  
всякого племени вьюношей, отроковицы-девицы, запятая,  
закидываются «седативным»; литая ограда стоит, как влитая.

Отеческие гроба, папоротники и бузина, пластик бутылок, –  
Баухаус весёлых бомжей с остатками лиц, – сплошной затылок  
ко всему терпеливой жизни, всё пожирающей без ножей и вилок.

## ГРЯДУЩЕЕ

Ночами ясноочитые отроки, числом более двух,  
будут стоять в изголовье и переводить мой дух  
из мира живых в мир идей, в пространство знаков, и  
именно там будет невыносимо; Господи, останови

эту необратимость действия, непоправимость шага  
не по собственным умыслам – тут не нужна отвага;  
это рубеж невозврата и рубикон распада; там ни ада,  
ни рая, там пустота Лейденской банки, там от шоколада

на столешнице сквозняком шевелимая оболочка,  
в комнатной тишине гремящая, что старая радиоточка,  
и средь ламповых помех, среди прорех звуковых,  
слух понимает, что вокруг никого не осталось в живых.

Это – персональное грядущее, как пенсия или бонус, или  
комплимент от ресторана, где в последний раз всё пропили,  
прилепив на прощанье метрдотелю на лоб купюру,  
изобразив физику надевания пальто и уронив скульптуру.

Пересказать это просто, зато пережить невозможно: в нишах  
холла статуи и портреты призраков, от Трисмигиста до Ницше,  
мышастый Кант, и булочный Бах, и Сократ, стократ повторённый  
эхом в зиянии атриума, его зевком; и по бокам нагие колонны.

Собственная будущность, недвижимость небытия; и мышца  
сердечная вяло толкает по венам плазму, и оттого не дышится,  
вместо голоса посвисты вьюги, вокруг полумрак; и ясноочитые  
сущности – точнее, твари – стоят по сторонам, словно прибитые,

схожие с деревянными католическими болванами из времён  
средневековых, крашены ярко на фоне мертвого мрамора; из окон,  
вместо хотя бы лунной воды, сочатся схемы созвездий, пунктиры, –  
как когда-то электро-план ГОЭЛРО; и это в пределах квартиры.

К будущности подготовиться невозможно, как и к инфаркту,  
оргазму или авиакатастрофе, разлуке и смерти; ставишь на карту  
или на кон себя, жизнь, коня – и зря, бо остаёшься в итоге  
перепуганным мнительным кем-то, в чужих краях, у дороги.